



ЛЕОНИД ЛИХОДЕЕВ

СНАЧАЛА
БЫЛО СЛОВО

Лиходеев Л. И.
Л65 Сначала было слово: Повесть о Петре Заичневском.— М.: Политиздат, 1987.— 335 с., ил.— (Пламенные революционеры).

Л $\frac{0505020000-013}{079(02)-87}$ 157-87

ББК 84.Р7+63.3(2)51

ЛЕОНИД ИЗРАЙЛЕВИЧ
ЛИХОДЕЕВ

СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО

ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ ЗАИЧНЕВСКОМ

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*

Редактор *Э. С. Мороз*

Младший редактор *М. В. Водолагина*

Художник *Б. А. Малахов*

Художественный редактор *В. И. Терещенко*

Технический редактор *Е. Ю. Тихомирова*

ИБ № 7024

Сдано в набор 14.07.86. Подписано в печать 14.10.86.
А00177. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.

Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая.

Усл. печ. л. 15,31. Усл. кр.-отт. 19,16.

Уч.-изд. л. 15,13. Тираж 200 тыс. экз.

Заказ № 330. Цена 1 р. 30 к.

Политиздат. 125811, ГСП,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий»,
620151, г. Свердловск, пр. Ленина, 49.

ЛЕОНИД ЛИХОДЕЕВ

**СНАЧАЛА
БЫЛО СЛОВО**

Повесть
о Петре Заичневском

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1987

Леонид Лиходеев широко известен как острый, наблюдательный писатель. Его фельетоны, напечатанные в «Правде», «Известиях», «Литературной газете», в журналах, издавались отдельными книгами. Он — автор романов «Я и мой автомобиль», «Четыре главы из жизни Марьи Николаевны», «Семь пятниц», а также книг «Боги, которые лепят горшки», «Цена умиления», «Искусство это искусство», «Местное время», «Тайна электричества» и др. В последнее время писатель работает над исторической темой.

Его повесть «Сначала было слово» рассказывает о Петре Заичневском, который написал знаменитую прокламацию «Молодая Россия». Заичневскому было тогда неполных двадцать лет. Однако же знакомимся мы в начале книги с пожилым Заичневским. Шаг за шагом возвращаясь к его юности, Л. Лиходеев воссоздает судьбу своего героя, почти неизвестную в литературе, жизнь, отмеченную как бы единственным событием, но являющую собой образец постоянной, непрерывной работы человеческого духа, ума и сердца.

ОТ АВТОРА

В сибирской газете «Восточное обозрение» за 2 апреля 1897 года я прочел короткое воспоминание об одном из сотрудников этой газеты:

«Заичневскій Петръ Григорьевичъ, 1842—1896. Орловскій уроженецъ и помѣщикъ. Воспитывался въ Московскомъ университетѣ, но курса не окончилъ. Въ 1863 году пріѣхалъ в Сибирь, куда онъ пріѣзжалъ еще въ 1890 году и прожилъ въ Иркутскѣ до 1895 года. Принималъ участіе въ провинціальныхъ газетахъ... Умеръ в Смоленскѣ в крайній нуждѣ».

Этот человек заинтересовал меня тем, что в двадцатилетнем возрасте написал прокламацию «Молодая Россия». Он начал революционный путь, когда в России Маркса еще не знали. Заичневский остался в шеренге пламенных революционеров как автор этой прокламации. Но после нее он прожил еще тридцать лет и четыре года, был вечным ссыльным и ушел из жизни, когда в России уже укоренялся марксизм.

Может быть, поэтому я вообразил его уставшим пожилым человеком, которому оставалось жить всего сто дней...

И он увлек меня в свое прошлое. Я шел за своим воображением. События, оставшиеся навеки в энциклопедической памяти, стояли вдоль пути моего, как вер-

стовые столбы, а я шел им навстречу, стремясь увидеть этого человека молодым. Я шел к его прошлому, снимая годы и десятилетия, чтобы обнажить далекую юность, ликовавшую надеждами, и услышать слово, которое вспыхнуло вначале.

Прокламация «Молодая Россия» была главным делом его жизни, восклицательным знаком его бытия, и, в меру моих сил, я пробирался к дням его прокламации, ибо по законам жанра восклицательный знак ставят в конце...

ЧУГУННЫЙ ТРАКТ

1895.

Из Иркутска в Смоленск

I

Левая пристяжная, чалая лошаденка, приплясывала обособленно, будто и непряженная, а как бы приставшая к упряжке для компании. Отворотив от гнедого коренника голову с негустой светлой гривой, лошаденка легко клубила плотным морозным дыханием, баловалась льняным хвостом, вздымая его, как на нужду, раскидывала в беге ноги, выбивая из зимника крепкие комья смерзшегося снега. Правый конь, тоже гнедой, но посветлее, натягивал шлею заметно, держал голову так же прямо, высоко, стриг ушами на звук бубенца.

Белое слепящее пространство разлеглось перед лошадиным бегом — закованная молодым льдом, заваленная молодым снегом река петляла в высоких берегах, влекла свежую, еще голубевшую, еще не пожелтевшую конскими следами едва накатанную дорогу.

Петр Григорьевич тепло уместился, полулежал лениво, подремывал, добродушно просыпаясь на ухабе, а очнувшись, думал некоторое время, до новой сладкой дремоты. Голубев, мягкий, закутанный башлыком, детски посапывал у него на плече.

Они выехали из Иркутска наспех, вдруг.

И вот снова дорога, зимник, широкая меховая спина ямника и — ни дома, куда ехать, ни даже точного места назначения. Там, впереди, перед лошадиными ушами, — столицы, в которые — нельзя, университетские города,

в которые — пельзя, и остальная страна, в которую — можно: огромная нелепая империя с маленькой головкой и непомерным туловом. Огромная империя, похожая на ископаемого динозавра.

Сходство это усматривал на географической карте Ошурков. Он почему-то считал, что у динозавра были ласты, и тыкал пальцем в Камчатку, действительно похожую на ласт. Метеоролог Ошурков обладал воображением шамана: видел в тенях, облаках, дымах людей, всадников, животных и читал предзнаменования.

Петр Григорьевич уткнулся в воротник, вспомнил пахнувший лиственничными дровами очаг Ошурковых (что-то вроде камина).

— Весьма кокетливая особа,— сказал вдруг Голубев и рассмеялся: он не спал, а только притворялся спящим, наблюдая выкрутасы чалой лошаденки.

Ямщик шевельнулся и вытянул лошаденку кнутом. Лошаденка взбрыкнула, круче отвела голову и заплясала еще затейливее. Ямщик покрутил волчьим малахаем, крикнул, не оборачиваясь:

— Вот так и жизнь наша, господа!

— За что ты ее? — спросил Голубев.

— Да я ее так! Любовно! Жалеючи! Учю! Гляди, барин!

И хлестнул снова.

— Ну, будет тебе! — сказал Голубев.

— Да я ж ее сухарем кормлю! С руки берет! И-эй, распрекрасные! Я говорю, вот так и жизнь наша, господа! Едем, едем, а конца не видать!

Река круто повернула вправо. Зимник двинулся из нее на взгорок, на спрямление.

За взгорком показалась прямая заснеженная белая насыпь, показалась вдруг, как вынырнула,— тяжелая, большая, несуразная, никак не причастная к местности. Шла она поперек пади. Упряжка поскакала вдоль насы-

ци, как вдоль небывало ровного высоченного берега. Там по верху, по самому гребню, копошились черные маленькие далекие люди. Оттуда в тихом морозе долетали удары по железу, крики какие-то — должно быть, приказа-ния десятников.

— Во-на, господа,— обернулся ямщик, указав кнутовищем на гребень,— ежели оттуда скатиться — костей не соберешь!

— Зачем же оттуда скатываться? — спросил Голубев.

— Мало ли... Спьяну, к примеру... Н-н-но, милая!..

— Полно тебе... Туда одних трезвенников брать станут.

— И-и, барин! — оживился ямщик. — Где ты тех трезвенников найдешь? Возим вино бочками! Да еще платят-то как!

И снова обернулся неуклюже:

— А когда ее дотянут, дьявольскую выдумку, — конец лошадям. Конец. И мы по миру пойдем.

Он перекрестился кулаком, в котором кнут.

— Видишь, Петр, в основе этого взгляда — прямой экономизм... — сказал Голубев.

Говорить не хотелось. Сейчас Голубев оседлает своего конька — идеализм, материализм, проникновение капитализма...

Петр Григорьевич прикрыл веки.

Взгляд ямщика на строительство великого сибирского пути, железной дороги, чугунного тракта распространен был в Сибири широко и давно. Умные, ученые, образованные люди излагали взгляд этот по-английски, по-французски, по-немецки, приспособлявая к нему Смита, Рикардо, Сисмонди, Милля, Маркса... А ямщик излагал его просто и незатейливо: а ну ее к лешему, дьявольскую затею! А дьявольская затея громоздилась поперек Сибири, вбирая в себя все, что нужно было ей, этой дьявольской затее, и не внимая никаким толкам на свой счет.

Там, у Ошуркова, над конторкой висела карта империи. Синий карандаш отделил на ней Россию от Сибири. Синий, отчаянно смелый карандаш. Зоолог Пыхтин объяснял:

— Динозавры были диплодоки, то есть двудумы. Диплодок, дву-дум. В крестце у него помещался второй мозг, чтобы управлять хвостом и задними ногами. Мозг этот был вдесятеро объемнее головного.

— Сепаратистский,— сострил Петр Григорьевич и ощутил в ответ холодность: сибирские сепаратисты, областники, отделенцы, остерегались его острословия. Митрофан Васильевич Пыхтин, зоолог, знаток фауны и сущей и вымершей, управитель несметного миллионного дела Анны Ивановны Громовой, человек ученый, далекий от образных фантазий, был задет:

— Вы невозможный человек, господин якобинец! Я вам объясняю как зоолог, а вы воспринимаете — как политик... Этак недолго...

— Да ведь дальше Сибири ничего нет! Вы противопоставляете Сибирь России и геологически, и геодезически, и метеорологически и еще бог весть как. Но главным образом — нравственно! Полноте! Природа здесь, возможно, и особенная, а нравственность — пардон! Мы привезли сюда из России все лучшее, что в ней было, и все худшее, что в ней есть! И сатанимся против этого худшего, будто оно, худшее, и есть — Россия, а лучшее — это Сибирь!

Иркутские сепаратисты, областники, таили юношескую мечту свою о Сибирской федерации, поплатились за нее в свое время, но помнили о ней, как помнят всю жизнь безвременно погибшую невесту, так и не ставшую женою. Они постарели, отяжелели домами, делами, чинами, но сердца их колотились прежним и шутить над их страстью было нехорошо. Они делили мир сей на местных и навозных, забывая, что сами, или отцы их, или

деды прибыли сюда оттуда же, из России, и больше ниоткуда. Преданность их Сибири была сильна и бесстрашна. Она делала их великими знатоками — зоологами, химиками, землепроходцами, этнографами, экономистами, металлургами, и их имена золотились на корешках драгоценных для российской науки фолиантов.

Петр Григорьевич подтрунивал над их геополитическими настроениями, но уважал и ценил за дело.

Ямщик причмокивал, правил тройкой, поглядывая на несуразно огромную насыпь. И снова обернулся:

— Сказывают, тайгу кругом под топор... Жечь, стало быть... Он же, дьявол, вроде самовара... Я не видел, не знаю, а люди видали: сам черный, труба красная, огромная и с той трубы постоянно — дым. И все шипит, свистит, как в преисподней, прости господи...

И снова перекрестился черенком кнута.

Петр Григорьевич проезжал по этой дороге четвертый раз. Сюда в шестьдесят третьем году и отсюда в шестьдесят девятом, опять сюда — в девяностом и вот снова отсюда — в девяносто пятом.

Первый раз ехал он сюда, в каторгу, с двумя ленивыми добродушными жандармами, ехал государственным преступником, лишенным всех прав состояния, и считалось, что ехал в кандалах. Кандалы, однако, лежали под сиденкой. Преступник был слаб после болезни, ковать его не было смысла: куда уйдет?

— Братец, — негромко позвал ямщика Петр Григорьевич, — что у тебя под облучком?

Ямщик не понял интереса, помолчал, сказал, причмокнув:

— Разность всякая... Полость, к примеру... Замерз что ли, барин?

— А кандалов не везешь?

Ямщик удивился, обернулся, преодолевая доху:

— Это в Россию-то — кандалы? Из Сибири, чай, едем, какие ж кандалы? Н-н-н-но, распрекрасные!..

II

Старинная изба почтовой станции с затейливыми наличниками, с витыми столбиками крыльца, с прорезными перилыцами, с железным петушком на коньке не сразу явилась взору. За эти пять лет вокруг нее выросло целое селение.

Рубленные наспех, поставленные где придется пакагузы, амбары, навесы громоздились вокруг тесно, смело, беззаботно. Окна новых строений были без наличников, без ставен, двери открывались прямо в белый свет без всяких крылечек и козырьков.

Тайгу отогнали саженой на семьсот, и она чернела дальней оградой, окружая нечаянный посад.

Между построек, перебегая тесные улочки, сталкиваясь, перекликаясь, толпясь, гукая дверями, скрываясь в помещениях, появляясь из срубов, с делом, без дела ошалело суетились люди разного вида и звания. Разгоряченные купцы в поддевках под шубами, одубелые казаки, закутанные башлыками, медлительные инородцы в малицах, суматошные барыни в дорожных меховых салопях, изумленные детишки, обвязанные по шубейкам шерстяными платками крест-накрест.

Широкие, низкорослые вятские лошади с густой заиндевелой шерстью тащили на крестьянских дровнях ящики, бочки, тюки. Возчики шли рядом, покрикивая на народ, чтоб давал дорогу.

А среди всего этого народа, как солидные гуси среди всполошившихся кур, важно, обособленно ходили люди в темно-зеленых шинелях на бобрах и в фуражечках — будто и не мороз — господа инженеры.

Над простым, без затей входом в длинный двухъярус-

ный сруб приколочен был символ строителей железной дороги. Дорога эта находилась неподалеку, в пяти перегонах. Там уже ездили поезда. Но и здесь, еще не готовая, еще не сделанная, она подминала под свою власть все вокруг: ей принадлежали амбары и склады, и обтянутые корабельной парусиной бунты, и пакгаузы, и казармы для рабочих, и трактир с семейными номерами.

Возле небольшого рубленого домика с казенным орлом и вывескою «Телеграфическое отделение» толпа — человек семь — возбужденно горячилась, спорила, ждала чего-то.

Вышел старик смотритель и все нетерпеливо ринулись к нему.

— Господа,— виновато проговорил старик,— из телеграммы приказано задержать четыре упряжки... До распоряжения...

— Кто приказал?

— Не могу знать, господа... Телеграф...

— Понатыкали столбов, бездельники! — с отчаянной смелостью выкрикнул круглый усач в бекешке.

— Новая форма бюрократства, господа! — через левую губу произнес высокий человек в тулупе, произнес, осматриваясь, чтобы все слышали. И — действительно — замечание было воспринято с мстительным облегчением.

Вдруг, непочтительно расталкивая всех, на смотрителя двинулся коротконогий, крепкий господин в черной шубе:

— Паз-вольте! Паз-вольте! Я тотчас телеграфирую в Санкт-Петербург Аристарху Владимировичу! В правительствующий Сенат! Уж он-то вам задаст!

Смотритель развел руками в покорном отчаянье:

— Как вам угодно-с... Как вам угодно-с...

Смотритель постарел за эти пять лет неузнаваемо. Петр Григорьевич увидел совсем седые бакенбарды, какие

стали носить с воцарением Александра Второго, лет сорок назад. Тогда полагалось подбривать подбородок, чтоб напоминать собою государев лик. Однако время взяло свое, и некогда горделивые бакенбарды, поредев и побелев, торчали теперь по бокам небритой бороды клочковато, по-кошачьи.

Но лисья телогрейка на смотрителе была все та же.

Тогда смотритель жаловался на службу, бормотал вполголоса о невыгодах своего положения.

— Жизнь прошла, а в ушах одно осталось... Из России — лошадей, в Россию — лошадей... Теперь у нас чугунный тракт пойдет... Скорее бы... А мне — на покой...

Петр Григорьевич узнал старика и пожалел его: глаза смотрителя были пусты, бессмысленны. Должно быть, он уже никогда и ничего не боялся, и не потому, что преодолел служивый страх, а потому, что все было ему безразлично, в том числе и его собственная персона, невесть для чего и по какой причине мающаяся на постылом почтовом дворе.

Угроза коротконогого господина телеграфировать в Сенат подействовала на столпившихся странным образом. Все повеселели, как будто каждому уже запрягали упряжку. Гнев на смотрителя вдруг иссяк. Старик побрел к своей избе, шаркая по скрипучему снегу подшитыми валенками...

А в новом домике цокала занятая машинка, и ничего кроме новой напасти от той машинки ждать не приходилось. Будто и телеграф этот для того и придумали, чтобы краткость повеления изложить еще короче, чтобы упрятать от обозрения лик начальства и тем самым вознести сей лик еще выше человеческого разумения. Бес его разберет, кто там — за проводами, за столбами видит и слышит и властвует! Из медного колесика ползет змеюу узенькая бумага, а на ней знаки, будто понарошку. Но знаки те читает по-русски телеграфический служащий,

господин телеграфист, молодой ссыльный, забияка и весельчак из отставных студентов. Поди проверь его — так ли складывает, верить ли? Да и как не верить, если складывает он слова привычные русскому человеку от Гостомысла и безо всякого телеграфа: не рассуждать!

Гневавшаяся минуту назад толпа уже острословила беспечно, беззаботно.

— Разъезжаем взад-вперед, а Россия — на месте. Только знает — лошадей задерживать.

— А куда, собственно, торопиться в любезном отечестве?

— Как куда? Ночевать где?

— До ночи добудем возок...

— Господа! В нумерах — полная ванцеклопедия!

— Разумеется, — перстом кинул в двухъярусный сруб коротконогий, — господа путейцы выстроили себе private хоромы! Еще бы! Казна в их полном распоряжении! Вот кого — в каторгу! Ну, я до них доберусь!

Телеграф уже давно не был новостью в Сибири, однако здесь, на умирающей почтовой станции, Петр Григорьевич отметил, что сущность всякого великого изобретения состоит отнюдь не в том, чтобы враз изменить сложившиеся обычаи, а в том, чтобы оснастить старые обычаи новыми возможностями.

Голубев отправился было искать обывательских, но задержался возле кузницы: уж больно ловко работал кузнец, могучий, огромный, заросший.

— Он похож на Бакунина, ты не находишь? — спросил Голубев.

— По-моему, он похож сам на себя. И я его где-то видел... Ступай ищи лошадей...

Подошел молодой человек университетского виду лет двадцати с небольшим, худощавое румяное лицо — в негустевшей бороденке. Была на нем хорошая енотовая шуба нараспашку и собачьи унты. Можно было принять

его за приказчика небедной фирмы (сибирские купцы любили именовать свои торговые дома сим солидным нерусским наименованием), а возможно, и за купеческого сына. Но Петр Григорьевич по неведомой, необъяснимой причине, по опытному чутью определил иное: ссыльный. И — должно быть, следует на собственный кошт. Не под родительский ли присмотр, с дозволения начальства?

Вдруг Голубев бросился к юноше, как к старому знакомцу.

— Петр! Это же Карасев!

Юноша оказался сдержаннее Голубева.

— Дядя Сеня,— спокойно и улыбочиво сказал он,— сколько лет, сколько зим?

«Ах, вот оно что! — подумал Петр Григорьевич.— Дядя Сеня — старая кличка Голубева».

Юноша завернул небольшого Голубева рыжими лапами шубы:

— А я думал, что еще застану тебя... Совсем?

— Под надзор,— сказал Голубев, освобождаясь от объятий,— в Смоленск...

— А кто этот старик?

— Как?! Это — Заичневский...

— А... Якобинец...— насмешливо сказал юноша.

Петр Григорьевич слышал разговор, делая вид, что не слышит, что занят наблюдениями за кузнецом (левая пристяжная сбросила все-таки подкову). Должно быть, юноша — марксид. Они, молодые марксиды, особенно въедливо произносят слово якобинец. Они трактуют все на свете, исходя из единых экономических законов, которые ясны им, как простая формула пифагоровой теоремы. Впрочем, они не признают и теорем. Они владеют аксиомами, объясняющими все на свете ясно, четко и неопровержимо. Петр Григорьевич слушал, думал.

Да, именно он, Петр Заичневский, тридцать три года назад объявил программу республики Русской в своей

прокламации «Молодая Россия». Все шарахнулись от его листовки. Его осудил Чернышевский. Снисходительно побранил Герцен. Сам бесстрашный Бакунин испугался смельчаков «Молодой России». И как знать — не прокламация ли Петра Заичневского с товарищами наметила пути будущим комитетам и партиям, провозгласив цель политического движения — социальную республику Россию...

Старик... Кто этот старик, наблюдающий работу кузнеца? Это якобинец Петр Заичневский. Он, якобинец Петр Заичневский, смотрит, как кузнец в старой пупковой телогрейке, в кожаном фартуке, изогнув лошадиную ногу, примеривает полуфунтовую дорожную подкову, утешительно приговаривает, очищая копыто косым ножом:

— Балуй... Балуй, дура...

И всаживает в копыто гвоздь с одного удара. Плоские подковные гвозди торчат у него в петлях на шлее фартука, как газыри. Лошаденка взматывает головою, дергается, взмывает хвостом, как от мух.

— Балуй...

А Голубев с этим красавцем удалились, радуясь неожиданной встрече.

Кузнец всадил последний гвоздь, загнул вылезший с внешней стороны копыта кончик. Лошаденка будто даже вздохнула, скребнув подкованной ногою.

— Так-то, Пётра Григорьевич,— вдруг сказал кузнец,— все никак на Усольский тракт не выйдем...

Петр Григорьевич изумился:

— Кондрат! Тебя ж не узнать!

Оставив лошадь в станке, будто она его никак не касается, кузнец подошел к Петру Григорьевичу, обтирая ладони о фартук:

— И дьявол сразу всего себя не показывает...

Петр Григорьевич шагнул навстречу. Станный спут-